

Зинаида Пастернак

Воспоминания. Письма

Не знаю, были ли мы счастливы, но нам казалось,
что ничего от жизни нам больше не нужно.



Дневник моего сердца

Diarium Cordis



Зинаида Николаевна Пастернак

Воспоминания. Письма

Серия «Дневник моего сердца. Diarium Cordis»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=21130180

Воспоминания. Письма / З.Н. Пастернак, Б.Л. Пастернак: АСТ;

Москва; 2016

ISBN 978-5-17-097611-9

Аннотация

Воспоминания – те же письма, с той разницей, что письма пишут конкретному адресату (частному лицу), воспоминания же, письма к вечности, если угодно, к другому себе. К себе, которого, возможно, уже и нет вовсе.

Зинаида Пастернак, Нейгауз, по первому браку, подавала надежды как концертирующий пианист, и бог весть, как сложилась бы история ее, не будь прекрасной компании рядом, а именно Генриха Густавовича Нейгауза и Бориса Леонидовича Пастернака.

Спутник, как понятие, – наблюдающий за происходящим, но не принимающий участия. Тот, кто принимает участие, да и во многом определяет события – *спутница*.

Не станем определять синтентику образа Лары (прекрасной Лауры) из «Доктора Живаго», не станем констатировать любовную геометрию – она была и в романе, и в реальности. Суть этой книги – нежность интонаций и деликатность изложения. Эти буквы, слова, предложения врачуют нездоровое наше время, как доктор. Живой доктор.

Содержание

Предисловие	8
Зинаида Пастернак	24
Детство	25
Переселение в Петербург	29
В Елисаветграде	35
Конец ознакомительного фрагмента.	58



Зинаида Пастернак

Воспоминания. Письма

Серия *Дневник моего сердца / Diarium Cordis*

Идея серии *Юрий И. Крылов*

Предисловие *Елена Л. Пастернак*

© ООО «Издательство АСТ», 2016

© Пастернак Е.Л., предисловие, комментарии, 2016

© З.Н. Пастернак, наследники, 2016

© Б.Л. Пастернак, наследники, 2016

* * *

Предисловие

Зинаида Николаевна Пастернак не хотела писать воспоминаний. Это нежелание было вполне органичным для ее характера – она была сдержанным, закрытым человеком и даже в домашних беседах весьма неохотно рассказывала о себе. До конца жизни все пережитое ею ощущалось отчетливо, как настоящее, и особенно отчетливой оставалась боль от множества потерь.

Она родилась в 1897 году в Петербурге, в семье военного инженера. Детей в семье было много, и воспитание они получили вполне традиционное; родители заботились в первую очередь об их здоровье и образовании. Душевной близости с отцом у маленькой Зины не было, а мать она восторженно обожала. Отца Зина лишилась рано; росла немного не такой, как все: с самого раннего детства была обособленна и «закрыта». Возможно, ее характер – женщины суровой и немногословной – сложился отчасти под влиянием строгого, неласкового детства, о котором она оставила весьма лаконичные воспоминания.

Те, кто знал Зину в молодости, отмечали совершенно особый тип ее красоты – она была на четверть итальянкой, но при ярко выраженной средиземноморской внешности ее стать и повадки были подчеркнуто строгими, царственными, напрочь лишенными даже намека на кокетство.

Ее путь в музыку был простым, даже слишком простым, как может показаться из ее же воспоминаний; с шестнадцати лет девочка подыгрывала граммофонным пластинкам и делала это легко и весело, больше для развлечения старших сестер и их гостей. Влюбленный в нее двоюродный брат сразу же почувствовал, что за этим развлечением скрывается огромное дарование, и заставил Зину заниматься всерьез.

Невероятно строгая к себе, Зина не подозревала, что в ней дремлет настоящий музыкальный талант, как, впрочем, не собиралась и смириться с заготовленной ей с детских лет ролью петербургской красавицы. Она, по-видимому, предчувствовала свою будущую судьбу с ее отречениями, служением и потерями. Тем не менее после первых же серьезных музыкальных уроков Зина ощутила, что открывшийся и признанный всеми и ею самой талант вытеснил все, что прежде составляло ее жизнь. Зина блестяще выдержала экзамены в консерваторию, которые принимал Феликс Blumenfeld.

Казалось, все развивается по слишком блестящему и слишком поспешному плану – целеустремленная, упорная в занятиях, она решает всю себя посвятить музыке. Изменившееся время этот план усложнило и направило Зину к совершенно иной судьбе. В середине 1917 года мать Зины, опасаясь за дочерей, принимает решение перевезти семью из военного Петрограда в тихий провинциальный Елисаветград.

Зина легко рассталась с Петербургом – она его не любила, несмотря на всю энергию и краски петербургской жизни на-

чала двадцатого века. (В дальнейшем возвращалась в Ленинград вынужденно, не чувствуя этот город «своим».) Впрочем, она легко переносила любые перемены в жизни – подчиняясь обстоятельствам и сохраняя, как самое главное, свою внутреннюю цельность. В 1917 году Зина еще не дорожила ни воспоминаниями юности, ни домом, ни людьми, там оставленными.

Главным в новой елисаветградской жизни было продолжение музыкальных занятий. Елисаветград той поры славился своей музыкальной школой, которая имела репутацию лучшей в России. Основателями и преподавателями школы были Густав Вильгельмович и Ольга Михайловна Нейгаузы, родители Генриха Нейгауза. Сам же Генрих именно в те дни давал в Елисаветграде концерты.

Услышав его игру, Зина немедленно решила, что должна заниматься только с ним. «Я вернулась домой совершенно вне себя от счастья, что этот человек живет себе в Елисаветграде и такое вытворяет». Первая же их встреча решила все, но не в пользу музыки, как она с горечью вспоминала много лет спустя. Тем не менее Нейгауз согласился немного позаниматься с ней, ведь вскоре ему нужно было обратно в Тифлис, где он преподавал в консерватории. Через несколько месяцев он вернулся, занятия возобновились, но Гражданская война превратила тихий Елисаветград в поле военных действий.

Они решили уехать в Киев, где Нейгауз собирался кон-

сертифицировать и преподавать в Киевской консерватории, а Зинаида Николаевна – продолжить свое музыкальное образование. Однако обстановка в Киеве времен Гражданской войны не способствовала этому. Тяжелая болезнь Зинаиды Николаевны решила все и сразу: «Нейгауз перевез меня к себе на Лютеранскую и трогательно ходил за мной всю болезнь. Поправившись, я стала все силы отдавать тому, чтобы сохранить в эти трудные времена жизнь и здоровье этого крупного музыканта... Большое чувство обязывало меня к большим жертвам, и в нем я черпала силы для жестокой жизненной борьбы». Несмотря на кажущуюся торжественность последних слов, как это бывает всегда, когда в зрелом возрасте женщина подводит итоги своей любви, жертва, принесенная Нейгаузу, была истинно велика – с этих пор она уже не говорила о продолжении консерваторского курса и никогда впоследствии не сетовала на погубленный талант. Ее предназначением стала забота о Нейгаузе. Все его концерты проходили при ее участии, она стала его ассистентом и в музыке, и в организации концертов, что в то тяжелое время было почти ежедневным подвигом. Самым сложным делом было не только приготовить зал, но даже достать рояль – для занятий, а иногда и для самого концерта.

Понимая, что талант Зинаиды Николаевны должен развиваться, Нейгауз приучил ее к ежевечерней игре в четыре руки. Она не могла бросить свою музыку. В тех их пристанищах, где можно было поместить рояль, они до утра играли

в четыре руки всю консерваторскую программу. «Глядя на его руки, я усваивала больше, чем могла бы получить из объяснений», – вспоминала она. Так и решилась ее музыкальная судьба – впоследствии на протяжении всей жизни, до последних дней она играла в четыре руки с кем-то из близких.

Во время короткой дружбы с Горовицем он был ее партнером. Сразу же оценив музыкальный талант Зины и опасаясь за ее дальнейшую судьбу, Горовиц просил ее не прерывать серьезной пианистической работы. Она в ответ удивлялась: а разве работа с Нейгаузом – это не служение музыке? И разве возможно всерьез думать о сцене и собственном имени в музыке, будучи женой Нейгауза? Влюбленный в нее Горовиц был для нее мальчишкой, так она и вспоминала о нем. В поздние годы любила рассказывать ученикам своего сына Станислава о том, что ей было интереснее слушать самого Горовица, чем играть с ним в четыре руки. Она все просила его сыграть сонату Листа. Смутившись, Горовиц ответил: «Я не люблю ее, она тихо кончается».

Так Нейгаузы прожили в Киеве до 1922 года. Сама Зинаида Николаевна говорила, что спасали ее только любовь, молодость и музыка. О голоде, войне, болезнях и утратах она рассказывать не любила, как будто понимала с ранних лет, что это стоит беречь в памяти, но не делиться с другими – впереди совершенный разлом жизни, и еще война, и еще потери.

Внешне три киевских года их жизни с Нейгаузом выгля-

дели очень напряженно – ежедневные занятия с учениками, подготовка к концертам, организация концертов, переезды, поиски более или менее достойного инструмента, скудное хозяйство, пригодное только для того, чтобы не умереть с голоду, и ежевечерние фортепианные занятия вдвоем.

В 1922 году Нейгаузу предложили место в Московской консерватории. Это было удачей. После первых же концертов в Москве Нейгауз сделался бесспорным любимцем капризной московской публики, сразу оценившей особенный нейгаузовский звук. «Под его пальцами инструмент приобретал певучесть, эмоциональную выразительность и разнообразие тембров... Когда он играл Бетховена, перед взором слушателей возникали образы старой Вены, оживали черты гениального мастера, его великое бунтарство, любовь к жизни и вера в человека. Исполнение Шумана было проникнуто романтической страстностью его творческих грез... Откровением было и исполнение произведений Скрябина, когда звуки фортепиано, казалось, рождались не от удара молоточков по струнам, а возникали сами собой в воздушном пространстве», – вспоминали его коллеги о первых московских концертах. В Москве жизнь сразу переменилась. Помимо приехавших одновременно с Нейгаузами Блуменфельдов и Асмусов, появилось множество новых друзей, музыкантов и поклонников. Можно было не так ожесточенно бороться за жизнь и музыку, быт налажился, Нейгауз получил вполне заслуженные внимание и славу.

В 1925 году у Зинаиды Николаевны родился первый сын, Адриан. Она так тяжело рожала, что, едва очнувшись от мучений, на традиционный вопрос врачей, будет ли она рожать еще, из последних сил воскликнула: «Никогда!» Врачи засмеялись и предрекли ей скорую встречу в том же родильном доме имени Грауэрмана. Так и оказалось – через год она ждала второго ребенка. Как раз в это время она узнала от близкого ей человека об измене Нейгауза и, что еще страшнее, о существовании второй семьи и маленькой дочери. От самоубийства спасла только мысль о детях – Адике и о втором, еще не родившемся. Во время беременностей она продолжала много играть по вечерам, не думая еще, что кто-то из детей станет музыкантом, просто не могла без этого. Чаще всего играла этюды Шопена, которые в голодные киевские вечера разучивала в четыре руки с Нейгаузом, скерцо и баллады.

В марте 1927 года родился их второй сын, Станислав. Зинаида Николаевна была великолепной матерью, ее серьезное, спокойное и сосредоточенное материнство стало спасением от горя и распада. Мальчики Нейгаузы были необыкновенны. Оба вызывающе красивы, в одинаковых костюмчиках с белыми бантами, старший похожий на отца, а младший – на мать, они росли под постоянным ее присмотром. «Два брата с Арбата» – так шутливо называл их отец, а за ним и многие близкие и даже воспитатели. Они обучались всему, что было необходимо, но Зинаида Николаевна ждала

момента, когда пора будет сажать их за рояль. Когда им исполнилось пять и шесть лет, она часами просиживала с ними за роялем. Оба сопротивлялись. Однажды с усмешкой сказала подруге: «Вчера Гаррик занимался с мальчиками. В них стулья летели!» Младший был несомненно талантлив. Она понимала, что ей предстоит еще одна тяжелая многолетняя забота – сделать из него музыканта.

Так прошел конец двадцатых годов. Зинаида Николаевна была необыкновенно деятельна. Она растила детей, занималась с ними, не прекращая бесконечной заботы о Нейгаузе, и, оставаясь его помощником в работе, постепенно сделалась матерью и ассистентом для всех троих. Внешне они выглядели блестяще. Об измене Нейгауза она не позволяла себе думать, но не думала и о себе самой, справедливо считая, что ее предназначение состоит только в служении семье, и судьба ее вполне сформировалась.

В круг обязанностей Зинаиды Николаевны входила и организация летнего отдыха. Она стремилась к тому, чтобы дети провели лето вдаль от города, а Нейгауз мог ежедневно помногу заниматься. Летом 1930 года она сняла несколько дач в поселке Ирпень под Киевом для своей семьи и для семей общих друзей, в числе которых была и семья Б.Л. Пастернака. Надо сказать, что у Зинаиды Николаевны с детства была довольно острая интуиция, она всегда предчувствовала опасность и часто смело рисковала в откровенно опасных ситуациях, как будто знала, что в этом случае не произой-

дет ничего страшного. Но именно в этом случае с дачами, перевернувшем ход жизни практически всех, кто выехал тем летом в Ирпень, она почему-то сняла Пастернакам дачу подальше от своей. То, что случилось этим летом, многократно вспоминалось и публиковалось, легло в основу пастернаковского цикла «Второе рождение»:

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете,
И ваши тополя кипят.
Льет дождь. Да будет так же свят,
Как их невинная лавина...
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.

«Вторая баллада»

Пастернак полюбил жену своего друга, которого сам боготворил и в музыку которого был влюблен.

Удар, другой, пассаж, – и сразу
В шаров молочный ореол
Шопена траурная фраза
Вплывает, как больной орел.
Под ним – угар араукарий,
Но глух, как будто что обрел,
Обрывы донизу обшаря,

«Баллада»

Осенью, уже в Москве он без ведома Зинаиды Николаевны признался в этом Нейгаузу. Пережить это потрясение все его участники стремились наиболее достойно – рушились две семьи и в обеих были маленькие дети. Она решила уехать в Киев, взяла с собой своего любимца Адика и, как это часто бывает, положилась на судьбу. Огромный натиск буквально всего музыкального Киева, обрушившегося на нее за то, что она бросает Нейгауза, выдержать было нелегко. Каждый, кто приходил к ней, был частью ее счастливой юности, прожитой с Нейгаузом в этом городе. Она намеренно поехала в Киев, а не в родной Ленинград, втайне надеясь, что любимые воспоминания вернут ее к прежней жизни и она забудет о приключившемся с ней. Оба – сначала Пастернак, а за ним Нейгауз – последовали за нею. После месяцев метаний она уехала с Пастернаком в Грузию и окончательно осталась с ним. Один из страшнейших периодов ее жизни, которого она вскользь касается в своих воспоминаниях, – первое время ее жизни с Пастернаком. Детей забрал к себе Нейгауз, и она стала приходящей матерью для своих сыновей, каждое утро отправлялась к ним, одевала их, гуляла с ними, затем кормила, занималась, а вечером уходила. Дети, в первые годы их жизни никогда не разлучавшиеся с мате-

рю, не осмеливались даже спросить о том, что случилось. Присутствовавший при этих расставаниях Нейгауз не говорил ни слова, Пастернак, окрыленный любовью, умолял ее не усложнять жизнь и надеяться на лучшее. Не только знаменитый жилищный кризис в Москве начала тридцатых годов был виной этих страшных месяцев, большинство близких оказывали сильнейшее давление на Зинаиду Николаевну и она со свойственной ей жертвенностью решила остаться с Нейгаузом, считая, что Пастернак тоже должен вернуться к оставленной семье. Но Пастернак был настойчив, и постепенно внешне все наладилось. Участники драмы попытались зажить другой жизнью.

И в жизни с Пастернаком Зинаида Николаевна оставалась прежней. Она родила третьего сына, Леонида, как всегда, действовала во имя своих близких, и ее повседневность снова стала служением им. Держать дом, растить маленького ребенка, заниматься со старшими, оберегать труд мужа – все это не менялось ни в благополучные времена, ни в тяжелые годы. Вечером, когда вся работа была выполнена, она садилась за рояль и возвращалась к музыке. «... Рихтер сыграет этюд или 4 скерцо, те самые, которые ты играла по возвращении с Кавказа, и все в такой грустной, вновь облагороженной живости встанет передо мной, что меня ослепит тоска, и мне так захочется, чтобы все было тобою и ничего чужого не было, и чтобы мне не мешали знать и помнить тебя и быть занятым только тобою. Милый ангел, целую тебя, воспомина-

ешь ли ты меня?» — пишет Пастернак жене в эвакуацию в одном из первых военных писем, через десять лет после женитьбы на Зинаиде Николаевне, вспоминая их первые дни в Москве.

Война принесла не только общие для всех тревогу, разлуку и обездоленность. Старший сын Зинаиды Николаевны Адриан еще до войны заболел костным туберкулезом. В военные годы болезнь приобрела мучительный, необратимый характер. Зинаида Николаевна знала, что ее сын неизлечим и никакое чудо не спасет его. Мучения Адика усугублялись тем, что его клиника была эвакуирована за Урал, в то время как семья жила в Чистополе, на Каме. Последние тяжелейшие месяцы жизни он все же провел в подмосковном туберкулезном санатории рядом с матерью. Невозможно и помыслить о том, как могла эта женщина выдержать подобное: «Мы вернулись в Переделкино, и тут моя жизнь стала гораздо труднее, чем в Чистополе. Приходилось заботиться о Стасике, который переехал в город в связи с очень серьезными занятиями в училище, через день я ездила к Адиду, снабжала его продуктами, а потом, возвращаясь в Переделкино, обслуживала Борю и Ленечку». Как же ей доставалось от московских гранд-дам и великих жен и вдов за это слово: «обслуживать», подходящее, по их мнению, для подавальщицы в литфондовской столовой! И какое счастье для них, что на их долю не выпало и крохотной части того бремени, которое молча и достойно несла она... О смертельной болезни люби-

мого сына она догадалась сразу, за несколько лет до его гибели, и со страшным, присущим ей немногословием приговорила себя словами о том, что его болезнь – это расплата за ее уход от Нейгауза к Пастернаку. Она была очень далека от мистического толкования событий и неосторожных слов, но про гибель Адика, скончавшегося в ужасных мучениях весной 1945 года, она просто знала, что это так. С тех пор в ее речи действительно преобладали слова: обязанность, обслуживать, кормить, обстирывать, создавать условия... Ей оставалось сделать еще очень много, у нее было два сына, музыкальные занятия Стасика, ставшего с тех пор старшим, воспитание маленького Лени и забота о Пастернаке, оберегание его работы. После смерти Адика она не опустила и не изменилась внешне – то же безукоризненно аккуратное платье, прямая спина, аккуратнейшая прическа, маникюр, папироса в изящных пальцах. Но теперь жизнь была уже не столько служением, сколько бесконечным терпением.

За успешными занятиями Станислава в училище, а затем и в консерватории она следила пристально. Они обсуждали вместе все исполнявшиеся им сочинения, все замечания преподавателей. Когда она поняла, что сын превзошел ее своим мастерством, то стала его постоянным слушателем, мысленно проигрывая все вместе с ним и дома, и на концертах. В четыре руки играла теперь с младшим сыном Леонидом и только тогда, когда инструмент Станислава бывал свободен. Леонид был талантливым музыкантом, но, к сожалению,

нию, не получил профессионального музыкального образования.

Генрих Густавович на всю жизнь остался ее другом. В одном из писем военных лет он пишет: «Радуюсь за Стасика, что он, очевидно, будет настоящим музыкантом. Была бы страсть и любовь – остальное приложится... В отношении игры пока еще старость не одолела. Зато почет и уважение, а также любовь со стороны учеников – огромны. Ученики делают прекрасные успехи – бацилла красоты попадает в их организм и действует...»

Сколько воспоминаний, и как часто я передумываю нашу прошлую жизнь – Киев, Клавдиево, Москву, и как сердце сжимается от тоски и боли».

Последний удар, выпавший на долю Зинаиды Николаевны, – травля Пастернака в связи с публикацией на Западе «Доктора Живаго» и присуждением ему Нобелевской премии, а затем и скорая его смерть – был пережит ею, как ей и было свойственно – достойно и несуетно.

После его смерти она нередко говорила о том, что устала и дел у нее уже нет. Она совершенно не умела играть роль бедствующей вдовы-просительницы, навязанную ей действительностью, и, не дожив и до семидесяти лет, умерла в 1966 году.

Перед смертью, незадолго до больницы, не сомневаясь в самом страшном диагнозе, она слушала симфонию Чайковского, и все в музыке ей говорило о ее прожитой жизни и о

той боли, которую она по привычке не высказывала домашним.

Ее вспоминали многие знавшие ее. Упрекали в несхожести с типичными женами знаменитостей. Действительно, в ней совсем не было светскости, сентиментальности, игры, принужденности. Правда, красота ее была тяжелой, не располагавшей к простым отношениям, правда и то, что в быту она была невероятно строга. Но едва ли можно назвать более трудную судьбу и более красноречивый случай самоотречения, чем судьба и служение ближнему Зинаиды Николаевны Пастернак.

Ее средний сын Станислав Нейгауз, ставший известнейшим пианистом, перед концертом всегда подходил к портрету матери и стоял несколько минут в молчании. После концерта ставил рядом с портретом цветы. На восторженный отзыв о его исполнительском мастерстве он как-то сказал: «Все — мама».

Е. Л. Пастернак



Зинаида Пастернак

Воспоминания



Детство



¹ Воспоминания З. Пастернак, написанные в 1962–1963 годах, воспроизводятся по изданию: Борис Пастернак. Второе рождение. Письма к З.П. Пастернак. З.П. Пастернак. Воспоминания. М.: ГРИТ, Дом-музей Б. Пастернака, 1993. В конце воспоминаний З. Пастернак отметила: «Писать эти воспоминания мне помогала Зоя Афанасьевна Масленикова». Фрагменты воспоминаний были опубликованы Е. Пастернак и М. Фейнберг с предисловием Л. Озерова во втором и четвертом номерах журнала «Нева» за 1990 год. В настоящем издании Воспоминания публикуются с небольшими сокращениями. Более поздние вставки напечатаны отдельно.

Я родилась в 1897 году в Петербурге. Моя мать перевезла меня на дачу на станции Саблино на реке Тосне. Из событий той поры запомнилось немного. Отец строил (он был инженером) бумажную фабрику на другом берегу Тосны, напротив нашей дачи. Справа находилась плотина с мостом. Дача стояла на высоком берегу, и под ней протекала обмелевшая в этом месте река. Детьми мы сбегали вниз под откос и собирали множество миног. Потом их солили на зиму и приготавливали с уксусом, перцем и другими специями. Дача была деревянная, двухэтажная. На верхний этаж вела лестница с перилами. Бочку с миногами, которых убивали живыми солью, плохо закрыли, и утром я увидела, что перила обвиты миногами, корчившимися в страшных муках, и шевелятся как живые. Миног собрали, а бочку на этот раз прикрыли крышкой и положили сверху большой камень. Так они должны были стоять несколько дней, после чего их жарили и мариновали.

Когда я родилась, моей маме было двадцать пять лет, а отцу пятьдесят. На моей маме он женился, овдовев, и от первой жены у него было три сына, чуть моложе мамы. У меня же было две сестры. Старшая была на четыре года старше второй, а средняя на четыре года старше меня. Следовательно, отец женился на моей маме, когда ей было семнадцать лет.

Два младших брата учились в корпусах и приезжали в каникулы на дачу, а старший брат, окончивший гимназию, жил постоянно на даче и не работал, потому что был очень бо-

лен. В семнадцать лет он стрелялся из-за любви к маминой сестре. Пуля попала в мозг, и ее нельзя было извлечь. Пуля перемещалась в мозгу и если нажимала на какой-то важный нерв, брат терял сознание. Он был очень хороший, образован, начитан и настроен весьма революционно. Я его очень любила. Он мне много читал, гулял со мной и заменял мне мою няню во время ее запоев. Старшие же сестры дружили больше с другими братьями.

Запомнился наш участок перед дачей. Вокруг дома был цветник с клумбами, а вслед за ним песочная дорожка вела прямо в чудесный лес, где было много грибов, а осенью в мороз собирали клюкву и бруснику на болоте, которым лес кончался. В погребке всегда стояли бочки с солеными и маринованными грибами, с моченой брусникой и клюквой. В городе покупали только колбасу и масло.

Я очень любила ездить с мамой в Петербург. От дачи конкой добирались минут за двадцать до станции, а потом ехали поездом еще около часу. Отец конкой никогда не пользовался: по служебным делам он ездил в Петербург почти ежедневно, и у него была своя лошадь с коляской.

Как-то ранней весной прорвало плотину, и было несколько несчастных случаев. Меня не пускали из дому, но, подойдя к окну, я увидела страшное зрелище. Река мчалась как безумная, и по ней неслись люди. Всю ночь жгли костры и искали потонувших людей, вылавливали баграми с лодок и откачивали на берегу. Одного из потерпевших брат перенес

к нам и под крышей сарая выхаживал его, несмотря на протесты отца. А я ликовала и носила ему еду и помогала брату ухаживать за ним. Его выходили, и он стал опять работать на фабрике.

Не могу не коснуться моих отношений к семье. Я обожала мать – она была красива, добра, и ее любили все дети вплоть до чужих сыновей. Вторым богом была для меня няня, которая, когда не пила, была просто ангелом. Отца я не любила, несмотря на всю его любовь ко мне. Он меня обожал, как самую маленькую. Перед каждым праздником он привозил подарки из Петербурга и, не в силах дожидаться утра, будил меня ночью и показывал, что он мне привез. Я спала наверху с мамой и отцом, и каждый вечер он одевал меня внизу в шубку и платки и на руках переносил наверх в спальню, никому не доверяя.

Детская моя находилась рядом со спальней отца и матери. Однажды я вбежала, не постучавшись, к ним в комнату, и мне показалось, что отец бьет мою маму. Я долго плакала и страдала, и где-то в глубине души отложились ненависть к нему и возмущение. Наверное, я ошиблась, потому что моя мама, уже после смерти отца, мне говорила, что он ее никогда не бил, а, наоборот, обожал.

У нас был доктор, безотказно навещавший нас во время болезней, и мне он казался святым человеком, так как он приезжал и по ночам не смыкал глаз, когда болел отец. Отец презирал его за то, что тот был евреем, не впускал к себе в

комнату, и врачу было очень обидно.

Когда устраивали елку, мою няню не впускали в комнату, и она стояла почему-то в дверях, а я рвалась к ней с рыданиями, и отец строго отводил меня за руку. Я была смертельно обижена.

Все это повлияло на мое отношение к отцу, и когда он умер – мне было тогда семь лет, – я стояла за дверью, и кричилась, и радовалась. В мыслях были такие соображения: теперь няня всегда будет со мной, маму никто не станет бить, и доктор, обожаемый всеми, будет у нас в почете.

Вот все, что я помню об отце. Он умер в страшных муках от болезни сердца в 1904 году.

После смерти его мы еще прожили один год на даче, так как в Петербурге происходили беспорядки, связанные с революцией 1905 года. Старший брат переехал в Петербург, и мы все время волновались и не знали, где он. Потом выяснилось, что он строил баррикады и помогал революционерам.

Переселение в Петербург

Похоронив отца на кладбище на станции, где он родился, и получив пенсию за него сто пятьдесят рублей золотом, мама переехала в Петербург. Первая квартира была снята за пять рублей в месяц на Ямской, недалеко от Пяти Углов. У нас было пять комнат, и одна из них была с «фонариком», из которого в одну сторону была видна вся Ямская, в другую

— Пять Углов.

Так как отец умер в чине генерала, то мать устроила нас, троих дочерей, учиться в институт принца Ольденбургского на казенный счет. Мы были приходящие: уходили к шести утра и приходили в шесть вечера домой. Делали уроки и ложились спать.

Мама жила только на пенсию, и ей было трудно с нами, тремя дочерьми. Ей постоянно помогала ее старшая сестра, которая была богата, и мой двоюродный брат Николай Милитинский, впоследствии сыгравший большую роль в моей жизни.

Итак, мы стали учиться. Пять лет прошло без всяких потрясений. Жизни не видели, общества не было.

У нас в гостиной стоял рояль (неизвестно, кто и когда на нем играл) и граммофон, его заводили в праздники, когда к старшим сестрам приходили гости, и танцевали. Меня обычно отсылали спать. Пластинки были танцевальные; галопы, вальсы, польки. Моим любимым занятием было завести пластинку и на рояле играть в унисон. Когда мне было пятнадцать лет, за этим занятием меня застал мой двоюродный брат Милитинский. Он пришел в восторг от моего слуха и уговорил мать учить меня музыке. Стал доставать билеты в концерт на всех знаменитостей: Рахманинова, Гофмана, Шаляпина. Он начал часто у нас бывать, вывозил меня в концерты, возился со мной.

Постепенно наша дружба переросла в любовь, нас стало

тянуть друг к другу, и в один прекрасный день, когда никого не было дома, я сошлась с ним.

Ему было сорок с лишним, а мне шел шестнадцатый. У него были жена и двое детей. Я чувствовала, что это очень плохо, но ничего не могла поделать с собой, и как всегда бывает с первой любовью, она казалась мне последней и навсегда. Так чувствовал и он. От своих домашних я это скрывала, как преступление, а он все рассказал жене. Она приходила ко мне, уговаривала выйти за него замуж, так как ей все равно уже с ним не жить, говорила, что даст развод, и т. п. Мне она показалась святой, я плакала у нее на груди, обещала с ним порвать. Но ничего не выходило. Встречи учащались. Из института, в форме, надев вуаль, я шла на свидание с ним. Пришлось ему снять комнату, где мы проводили уже почти каждый день вместе с утра.

Я была в последнем классе и мне было семнадцать лет, когда началась Первая мировая война. В Петербург стали прибывать раненые. В институте открылись курсы сестер милосердия. Нижний этаж был отдан под госпиталь, и мы ухаживали за ранеными и дежурили по ночам. Раненые были тяжелые, и я до сих пор помню запах при входе в палату; смесь йодоформа с кровью. В дежурке, ночью, если было спокойно, а это бывало редко, я пила крепкий чай, чтобы разогнать сон, и готовилась к выпускным экзаменам.

В этом же году я стала заниматься музыкой с преподавательницей, которую прислал и оплачивал Николай. Я зани-

малась с большим увлечением и делала успехи. Когда я с серебряной медалью окончила институт, я держала экзамены в консерваторию и была принята сразу на средний курс к профессору Лембе, ученику Blumenfelda², к которому все стремились попасть как к лучшему профессору. Экзамен принимал Blumenfeld (впоследствии я вышла замуж за Г.Г. Нейгауза³, его родного племянника). После экзамена Blumenfeld подошел ко мне, ласково поздравил, рекомендовал заниматься с Лембой и обещал на старшем курсе взять меня в свой класс.

Успех с музыкой потряс меня своей неожиданностью, и я стала серьезно заниматься. Любовь, увлечение – все засло-

² ...и была принята сразу на средний курс к профессору Лембе, ученику Blumenfelda... – Лемба Артур Густавович (1885–1963), пианист, педагог, композитор, музыкальный критик. Профессор консерватории в Петрограде (с 1915 г.), Таллине (1920–1963), Хельсинки (1921–1922). Blumenfeld Феликс Михайлович (1863–1931), родной брат матери Г.Г. Нейгауза; выдающийся пианист и педагог, а также композитор, дирижер. Профессор консерватории в Петрограде (1897–1905 и 1911–1918), Киеве (1918–1922), Москве (с 1922). Дирижер Мариинского театра (1895–1911). Памяти Blumenfelda Пастернак посвятил стихотворение «Еще не умолкнул упрек...», написанное в 1931 году и вошедшее в книгу «Второе рождение».

³ ...я вышла замуж за Г.Г. Нейгауза... – Нейгауз Генрих Густавович (1888–1964), один из крупнейших российских пианистов и педагогов, автор ряда работ о музыкальном исполнительстве, в том числе книги «Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога» (М., 1958). Профессор консерватории в Тбилиси (1917–1918, с 1916 – преподаватель музыкального училища РМО), Киеве (1919–1922, с 1918 – преподаватель), Москве (1922–1964). Среди его учеников – С.Т. Рихтер, Э.Г. Гилельс, С.Г. Нейгауз, Т.Д. Гутман, В.В. Горностаева, А.И. Ведерников. Первый муж Зинаиды Николаевны с 1919 по 1931 год.

нила музыка, и я дала себе слово никогда не выходить замуж и посвятить ей всю мою жизнь. Через год (в шестнадцатом году) я перешла на старший курс.

Еще когда я была в шестом классе, мы перебрались на другую квартиру, поближе к институту, на Дворянской улице. Напротив был дворец Кшесинской, на балконе которого выступали с речами в 1917 году Ленин и другие революционные деятели. 21 февраля семнадцатого года я ехала в консерваторию на трамвае. Вдруг наш вагон и трамвай впереди нас остановились. Я торопилась и решила перейти к первому трамваю, но, подойдя, я увидела странное зрелище: вагон лежал на боку, и вокруг него собралась огромная толпа. Оказывается, была объявлена забастовка вожатых, а так как первый вожатый не послушался и вел трамвай, то вагон повалили на землю. Я побежала в консерваторию, а когда после урока возвращалась домой, навстречу мне шли демонстрации, и на плакатах большими буквами было написано: «Дайте хлеба!» и «Долой буржуев!». Где-то вдалеке слышалась стрельба. Я с трудом добралась домой, мама была в истерике и, увидев меня, решительно потребовала, чтобы я никуда не выходила, пока все не успокоится.

В это время у нас гостил младший из моих братьев Коля. Он был военным инженером и служил в ставке генерала Алексеева, находившейся в Могилеве. Отпуск его кончился, и он был обязан явиться вовремя в ставку. Мы переодели его в штатское и с сестрой и мамой пошли его провожать

на Царскосельский вокзал пешком. Мы с трудом добрались живыми до вокзала, так как была стрельба, а оттуда домой.

На Дворянской у нас была круглая гостиная и полукругом шел балкон. К кухарке нашей часто приходил городской. Из-за этого городского нам пришлось покинуть Петроград. У нас восемь раз был обыск – все искали оружия, которого не находили, и утверждали, что с нашего балкона кто-то стрелял. Очевидно, кухарка прятала своего возлюбленного на балконе, и его поймали в полном вооружении и увели. На балкон же он мог легко попасть через выходившее на него кухонное окно. Почти каждую ночь раздавался стук в дверь. Я помню, как у меня колотилось сердце в подушку, а бедную маму мою от волнения разбил паралич – у нее отнялись левая рука и нога и язык.

Мы написали обо всем маминой сестре, жившей с мужем в бывшем Елисаветграде (ныне Кировоград). Муж ее был начальником кавалерийского училища, и у них была большая казенная квартира из восьми комнат. Когда мама стала поправляться и смогла двигаться, мы бросили квартиру с обстановкой, взяли только носильные вещи и переехали в Елисаветград. Пришел прощаться Николай Милитинский. Он уговаривал меня остаться в Петрограде, чтобы закончить музыкальное образование, но я пообещала вернуться осенью. Он помог нам при отъезде, обещал хранить нашу квартиру, и когда поезд медленно отходил, у него появились слезы. Я тоже плакала: какое-то предчувствие говорило мне, что

эта разлука – навсегда. Как будто и мою музыку, так связанную с ним, оторвали у меня с кровью!

В Елисаветграде

Мы попали как в другой мир. В Елисаветграде все было спокойно. На плацу гарцевали юнкера, выделявая на чудесных лошадях всякие цирковые трюки, и из окна можно было ими любоваться. Они не имели права приходить к нам, но у меня завелись подруги, у которых они бывали, и мы перезнакомились с некоторыми. Один из них мне очень понравился, его звали Аркадий Романовский.

Мы приехали в Елисаветград летом 1917 года. На главной улице, которая называлась Дворцовой, было кафе, откуда доносилась музыка. По Дворцовой гуляли юнкера со своими барышнями. Однажды я встретила Аркадия, и он пригласил меня на бал и лотерею в юнкерское училище. Бал должен был быть через месяц, перед началом занятий. Гуляя с ним по Дворцовой, я увидела на афише программу концерта, который давал Генрих Нейгауз. В программе были Шопен, Бах и Шуман. Расставшись с Аркадием, я пошла купить себе билет в концерт, но билетов не оказалось. Я расспросила своих подруг о Нейгаузе и узнала, что его родители имеют тут свою музыкальную школу и живут постоянно в Елисаветграде, у них свой домик с садом. Весь музыкальный Елисаветград у них учится, они считаются лучшими преподавателями в го-

роде, и у них полно учеников. Генрих – профессор Тифлисской консерватории, бывает здесь только наездами и имеет большой успех как музыкант и пианист.

Придя домой, я спросила тетю, не знакома ли она с Нейгаузами. Она сказала, что не знакома, но видит их ежедневно в любую погоду гуляющими вокруг юнкерского плаца по дорожке от четырех до пяти, и обещала показать мне их в окно в тот же день. Ровно в четыре часа показалась пара – мужчина с женщиной под ручку, а перед ними бежал маленького роста блондин с большой шевелюрой, под руку с дамой, – потом я узнала, что это была дочь елисаветградского помещика Милица Бородкина⁴. Про нее говорили в городе, что она невеста Генриха.

Через три дня он должен был давать концерт, и одна моя подруга уступила мне свой билет. Зал был переполнен. Стояла жара, и он играл не во фраке, а весь в белом – белой рубашке и белых брюках. Я была уже искушена исполнением Рахманинова, Гофмана, Сливинского и начала слушать с большим предубеждением, но после первого же аккорда поняла, что это пианист, не уступающий, а во многих отношениях и превышающий все, до сих пор мною слышанное. После концерта я была как во сне. Его певучий звук, его темперамент, общее целое – покорили меня. Я вернулась домой совершенно вне себя от счастья, что этот человек живет себе

⁴ Бородкина Милица Сергеевна (1890–1962), в юности невеста Г.Г. Нейгауза, позже его вторая жена (с 1933 г.).

в Елисаветграде и такое вытворяет. Про себя я решила, никому в этом не признаваясь, что попрошу его позаниматься со мной и приобщусь к его высокому искусству.

Утром я подошла к их домику и позвонила. В одной комнате играли гаммы, в другой кто-то учил этюды Шопена. Безумно волнуясь, я спросила открывшую мне дверь женщину про Генриха Нейгауза. Она сказала, что он ходит заниматься к друзьям, так как здесь слишком много музыки и ему мешают. Она мне посоветовала прийти ровно в два часа, перед их обедом. Я села на скамеечку на плацу и стала ждать двух часов. Домой мне не хотелось, я боялась передумать. Я очень волновалась. Ровно без пяти два я снова позвонила к ним. Открыл дверь сам Генрих, было видно, что он недоволен, что к нему пришли без спроса. Но, взглядевшись в меня, он пригласил войти. Я ему рассказала, что я ученица Петроградской консерватории, что пришлось уехать, не закончив ее, и что моя мечта взять у него несколько уроков, пока он тут. Он попросил меня прийти на следующий день к его друзьям, у которых он занимается, где хороший рояль. Я должна была сыграть ему что-нибудь, а там, мол, будет видно.

На другой день я пошла по указанному адресу. Он посмотрел мою руку, слегка поморщился и сказал, что у меня слишком короткий пятый палец, потом показал свою маленькую руку и заметил: «У меня ведь тоже очень неудачная рука, но если умно и с головой приспособляться, то все выходит». Я сыграла ему два этюда Шопена и, кажется, первую

часть сонаты Бетховена, какой – не помню. Он сказал, что я очень музыкальна и довольно ловко справляюсь с техникой, но постановка руки не совсем правильная (а откуда ей быть правильной, когда я в семнадцать лет начала заниматься), и он согласился давать мне уроки, пока он в Елисаветграде. Однако скоро ему надо уезжать в Тифлис, где он профессорствует, а ему туда не хочется, а хочется в Киев, куда он получил приглашение преподавать.

Как-то сразу же почувствовалось, что моей музыкой он не очень восхищен, а наружностью очень. Я это поняла, и это мне было неприятно. Но я подумала: «А мне все равно, у меня в душе другое, и это другое я ему не отдам ни за что на свете. Возьму от него как от музыканта все, что мне надо, и скажу до свидания». Прощаясь, он ласково посмотрел на меня, нежно поцеловал мне руку и назначил прийти через три дня.

Когда я вернулась домой, то увидела, что мама с тетей кроят мне белое платье к балу. Как-то мне все показалось лишним, хотя это был только второй бал в моей жизни (первый был после окончания института). Итак, уроки начались. Я ходила заниматься с ним как в церковь. Все новое и новое открывалось мне в музыке, и какие счастливые минуты переживала я на уроках! Это было сплошное откровение, и все это было как-то так сильно, что я все забывала и не волновалась, когда ему играла.

В августе был юнкерский бал. В день бала утром приехал

Николай Милитинский. Он ехал из Петрограда к жене в Анапу и заехал предупредить, что увезет меня на обратном пути в Петроград. Его обокрали в дороге, и он появился в одном костюме. Я уговорила его пойти на бал вместе со мной. Мой дядя дал ему свой костюм и белье, и мы отправились. Бал был роскошный, я танцевала без конца и весело торговала на лотерее. Успех я имела большой, за мной ухаживали. Николай Милитинский мрачно сидел весь вечер и наблюдал за мной. Мне было его очень жаль. Когда я подходила к нему переброситься несколькими словами, он смотрел на меня су-рово, и я чувствовала, что будет скандал. Во время одной фигуры в кадрили, когда кавалеры выбирают себе даму, ко мне кинулось слишком много танцоров, и я увидела, как он ушел из зала. Придя домой, я узнала, что он пошел ночевать в гостиницу. Утром он прислал мне с курьером записку, чтобы я немедленно пришла к нему.

Состоялось тяжелое объяснение. Он кричал, что, если я с ним не уеду, он все расскажет моей маме, что он виноват во многом, я пошла по дурному пути, и он должен уберечь меня от этого, женившись на мне. Как всегда, упреки не попадали в цель: главного я не могла сказать ему, я очень увлеклась Нейгаузом, а бал, юнкера и танцы — все это пустяки, не страшно. Я валялась у него в ногах, просила прощенья и обещала, что с ним уеду, когда он будет возвращаться из Анапы в Петроград. Постепенно он успокоился, и когда я его провожала через три часа на вокзале, все было хорошо. Но в

тот момент, когда поезд тронулся, он втащил меня в вагон. Я вырвалась от него и (на небольшом ходу) соскочила.

Больше я его никогда не видела. Через год он заболел свирепствовавшим на юге сыпняком и умер. Когда я была замужем уже за вторым мужем – Пастернаком, меня отыскивала его дочка Катя и привезла мне мою карточку с косичками и белым бантом. Она сказала, что папа, умирая, просил, чтобы эту карточку передали мне как самое дорогое, что у него есть.

Осенью Нейгауз уехал в Тифлис, и я продолжала занятия с его сестрой⁵, тоже прекрасной пианисткой. Начались беспорядки. За год в Зиновьевске (так был переименован Елисаветград) было одиннадцать переворотов. Тут все теряется в моей памяти. Помню только, что мы с мамой переехали в снятую комнату и отделились от тети. Средняя сестра вышла замуж.

Летом 1918 года приехал из Тифлиса Нейгауз. Уроки возобновились. Но жизнь стала тревожная – власть менялась каждую неделю. Зиновьевск стоял близко от узловой станции Знаменка, и все банды – Махно, Зеленый, Маруська Никифорова, григорьевцы – заходили в город, расстреливали помещиков. Григорьевцы пробыли три дня и вырезали всех евреев, которые не успели спрятаться. Было лето, трупы было некому вывозить, и в городе стоял ужасный запах. Я нико-

⁵ ...и я продолжала занятия с его сестрой... – Нейгауз Наталья Генриховна (1884–1960), пианистка.

гда не видела такого зверства, и эти погромы оставили след на всю мою жизнь. Многие ученики Нейгаузов были евреи, они их прятали у себя в подвале, и их, к счастью, не нашли.

Осенью Нейгауз собирался в Киев и уговорил ехать туда же. Он обещал, что будет давать учеников и я смогу зарабатывать.

* * *

Я решила ехать учиться в Киевскую консерваторию. Это был жизненно важный вопрос для меня, а средств на поездку не было. Тогда я продала свои драгоценности. Этих денег мне хватило бы всего месяца на полтора, но, как это свойственно молодости, я мало думала о будущем. Ехала я к тетке (маминой младшей сестре) и кровом, по крайней мере, была обеспечена.

Выезжала я при белых в начале 1919 года, зимой. У меня были знакомые среди военных, и они удобно устроили меня в поезде.

Я не знала, выедет ли в Киев Нейгауз, так как не слишком верила его обещаниям. В Дарнице я вышла на перрон погулять и вдруг увидела его. Он прислонился к столбу и спал стоя. Я обрадовалась и побежала к нему. Он рассказал, что всю ночь простоял в переполненной теплушке и не спал, я попросила его подождать и, вернувшись в свое комфортабельное купе, поговорила со своими спутниками. Они тот-

час согласились помочь этому большому музыканту и, забрав все его вещи, привели его к нам.

Ехали три дня (а езды там несколько часов). Всю дорогу мы были вместе. В Киеве я остановилась у тети, а Нейгауз отправился на Лютеранскую к своему другу, музыковеду Петру Петровичу Сувчинскому⁶. Он стал часто у нас бывать.

Время было трудное. Власти беспрестанно менялись, не было воды, продуктов, обесценивались деньги, и мои сбережения быстро растаяли. Как-то тетя узнала, что если мы поедем в Миргород за пшеном, то заработаем и сможем какое-то время прожить. Положение было безвыходное, а мне хотелось закончить учебу в консерватории, и я, недолго думая, согласилась. Мы оделись похуже и поездом отправились в Миргород. Там мы дешево купили у крестьян по пять мешков пшена. Все шло удачно, и мы погрузили наши десять мешков на подводу. Но, приехав на станцию в Миргороде, мы вдруг обнаружили, что потеряли паспорта, и тетин, и мой. Что было делать? В то время белые чинили один еврейский погром за другим, а у нас обеих был южный тип. Отец у меня был русским, а мать полуитальянка (фамилия моего деда была Джиотти), и мы обе походили на евреек. За

⁶ Сувчинский Петр Петрович (1892–1965), музыковед, музыкальный критик. Вместе с А.Н. Римским-Корсаковым основал журнал «Музыкальный современник» (1915). С 1920 года жил в эмиграции. Активно выступал в периодической печати, занимался издательским делом, пропагандировал русскую музыку. Сотрудничал с Н.Я. Мясковским, С.С. Прокофьевым, И.Ф. Стравинским, П. Булем.

спекуляцию в сочетании с еврейской наружностью нас могли выбросить с поезда на полном ходу. Как часто бывает в опасные минуты жизни, напряжение и страх заставили работать смекалку. Мы пошли к начальнику станции и рассказали про свою беду. Можете вообразить, с каким недоверием отнесся он к рассказу двух бедно одетых и перемазанных в глине женщин. Он обозвал нас спекулянтками и обещал расстрелять... Тогда, как утопающий за соломинку, я ухватилась за спасительную мысль. Я попросила начальника станции позвонить в Зиновьевск моему дяде Карпенко, который был начальником кавалерийского училища. Еще не вполне доверяя нам, он соединился с Зиновьевском, и тут, к великой моей радости, я услышала в трубке голос самого дяди. Начальник станции и мой дядя были на «ты», они оказались однополчанами. Тут же вместо утерянных паспортов нам были выписаны отличные документы, и вскоре мы со своими мешками очутились в Киеве. На вокзале мы удачно продали пшено, это обеспечило нам возможность просуществовать еще два месяца.

Дома я узнала, что в мое отсутствие по два раза в день приходил Нейгауз. Он негодовал, что я уехала, ему не скавав. Приведя себя в порядок, я пошла к нему на Лютеранскую, 32. Он познакомил меня с П.П. Сувчинским, который собирался за границу и оставлял ему две комнаты. В этой же квартире жила певица Бутомо-Незванова⁷. Это была женщи-

⁷ ...жила певица *Бутомо-Незванова*... – Бутомо-Названова Ольга Николаевна

на со всесторонними интересами, она увлекалась стихами, хорошо знала литературу и любила собирать у себя знаменитостей из артистической среды.

Генрих Густавович и я продолжали бывать друг у друга. При этих встречах мы рисковали головой: в Киеве чуть не ежедневно сменялись власти, и на улицах шла стрельба.

Месяц спустя тетя предложила повторить поездку. Я наотрез отказалась, о чем потом пожалела. Дело в том, что она поехала одна и приехала больная сыпным тифом, а будь я с ней, этого, может быть, и не случилось бы. Дома было холодно и голодно, и, несмотря на помощь Нейгауза, выходить ее не удалось; через неделю она умерла у меня на руках. Вдвоем с Генрихом Густавовичем, в сильнейший мороз, мы свезли ее на подводе на кладбище и похоронили. Вернувшись домой, я померила температуру. Оказалось – тридцать девять и восемь. Нейгауз и я решили, что у меня тоже сыпной тиф. Я умоляла его не приходить, чтобы не заразиться, но он не слушался и самоотверженно ухаживал за мной. Ему даже удалось привести врача, который, к счастью, установил, что у меня не сыпняк, а воспаление почек. В этот же день Нейгауз перевез меня к себе на Лютеранскую и трогательно ходил за мной всю болезнь. Поправившись, я стала все силы отдавать тому, чтобы сохранить в эти трудные времена жизнь и здоровье этого крупного музыканта. Так в болезнях, лишениях и голоде началась наша совместная жизнь. Большое чувство

обязывало меня к большим жертвам, и в нем я черпала силы для жестокой жизненной борьбы.

Приведу такой случай. Нейгаузу приходилось давать концерты в шерстяных перчатках с обрезанными пальцами и в шубе. Публика тоже сидела в шубах и платках. Однажды я подумала, что я буду не я, если не изменю этот порядок. Я пошла к заместителю директора консерватории Константи-ну Николаевичу Михайлову и спросила, есть ли у него дрова. Он ответил, что дров очень много, но топить Большой зал нельзя – печь не в порядке. Мы пошли с ним в зал. Он показывал дыры в печке и утверждал, что топить опасно в пожарном отношении. Полушута я спросила, будет ли он топить, если я почию печь. Он рассмеялся, посмотрев на мою тощую фигурку, и сказал, что эту печь не удавалось починить даже специалистам-печникам. Однако, заранее предсказав неудачу, он все же разрешил мне попробовать. Это было за два дня до концерта Нейгауза. Тогда у меня была восьмидесятилетняя работница – энергичная, крепкая старушка. Придя домой, я, тайком от всех, попросила ее развести в ведре глину с песком и приготовить несколько кирпичей. Рано утром, пока Нейгауз спал, мы притащили все это в консерваторию. Полдня мы с ней вдвоем вставляли кирпичи и обмазывали их глиной. Закончив работу, я потребовала вязанку дров, и мы с бабушкой затопили. Печка великолепно потянула. На прощанье я пристыдила Михайлова, сказав, что при желании даже в такое страшное время можно созда-

вать человеческие условия для людей.

Но тут я совершила ошибку. Мне бы надо было затопить накануне, а я сделала это в день концерта. Отправляясь с Нейгаузом в консерваторию, я нарядилась в легкое платье и настояла, чтобы он надел фрак. Он артачился, возражал, что под шубой фрака все равно не будет видно, но, не желая меня огорчать, уступил. Я осталась в дверях и просила публику раздеваться, что было необычным для тех времен явления. Разделись те, кого это предложение не застало врасплох. Концерт прошел не слишком удачно: Нейгауз плавал в поту, а публика задыхалась от жары. Но я доказала свою правоту, и Михайлов навел некоторый порядок в консерватории.

Концерты давали большой заработок. Мы увозили с них полный чемодан денег, но на них можно было купить два пучка укропа. Мы голодали, спускали вещи.

Однажды летом двадцатого года мы поехали на пляж с Генрихом Густавовичем и с Валентином Фердинандовичем и Ириной Сергеевной Асмус⁸, с которыми мы незадолго перед тем познакомились, завязав дружбу на всю жизнь. У Генриха Густавовича была нежная кожа. Он обгорел, весь покрылся волдырями, температура поднялась до сорока, и если бы одна треть тела не была свободна от ожогов, он мог

⁸ Асмус Валентин Фердинандович (1889–1965), философ, литературовед, профессор Московского университета. Асмус Ирина Сергеевна (1893–1946), первая жена В.Ф. Асмуса. Пастернак посвятил ей стихотворение «Лето» (1930). Друзья Зинаиды Николаевны и Генриха Густавовича Нейгауза и, позднее, Бориса Леонидовича Пастернака.

умереть. Он пролежал полтора месяца в постели в страшных мучениях, и первые дни его приходилось переворачивать на простынях. Когда врачи позволили ему наконец выходить, был назначен симфонический концерт, в котором исполнялся Второй концерт для фортепиано с оркестром Листа A-dur. Генрих Густавович был еще слаб, но деньги кончились, и надо было играть. Мне очень хотелось ему чем-нибудь помочь. Тайком утром в день концерта я пошла на базар и продала свой единственный чемодан. Затем я отправилась к нашим знакомым, у которых был чудесный рояль фирмы «Бехштейн». На этом рояле Генрих Густавович любил заниматься, чего нельзя было сказать про рояль в консерватории. Я спросила, не позволят ли они на один вечер перевезти рояль в консерваторию. Пожав плечами, хозяева согласились. Я наняла подводу и грузчиков, денег хватило на оба конца. Плохой консерваторский рояль убрали и поставили «Бехштейн».

Вечером, идя в концерт, Генрих Густавович нервничал, говорил, что если бы был хороший рояль, он бы как-нибудь этот концерт доконал, играть на такой кастрюле невозможно. Но с первых же аккордов он узнал своего любимца и играл как никогда. Обнаружив, что это я перевезла рояль, он растрогался до слез.

Может быть, и не стоило бы упоминать эти факты, которых можно было бы привести много, но мне хочется рассказать о том, как любовь заставляет двигать горы даже в такие

молодые годы (мне было тогда только девятнадцать лет)⁹.

Несмотря на трудные, голодные времена и частые смены властей, концертные и театральные залы были полны, в искусстве, в литературе ощущались подъем и оживление. В Киеве собиралось много известных музыкантов. Приехал дядя Нейгауза Блуменфельд, приглашенный преподавать в Киевскую консерваторию (тот самый Блуменфельд, который экзаменовал меня на приемных экзаменах в Петербургскую консерваторию). В это же время кончал консерваторию в Киеве по классу Блуменфельда шестнадцатилетний Владимир Горовиц, один из лучших пианистов современности. На всю жизнь остался в памяти его экзамен. Публики было так много, что стояли в проходах и даже на эстраде. Горовиц был редким виртуозом, и когда он исполнял технические этюды, в зале вставали, чтобы лучше видеть его руки.

Мы подружились с ним и постоянно бывали друг у друга, у Владимира Горовица была сестра Гиня, талантливая пианистка. Жилось и нам и им трудно, и мы с ней решили устроить концерт Нейгауза и Горовица на двух роялях. Она печатала билеты, а я с той же старушкой, с которой чинила печь в консерватории, ходила с ведром и с кистью по городу и расклеивала афиши.

⁹ ...мне было тогда только девятнадцать лет. – Зинаиде Николаевне было двадцать два года. Горовиц Владимир Самойлович (1904–1989), крупнейший пианист-виртуоз XX века, ученик В.В. Пухальского и Ф.М. Блуменфельда. Окончил Киевскую консерваторию (1921). В 1925 году эмигрировал, с 1928 года жил в США.

Успех был бешеный. Народу пришло так много, что не попавшие в зал слушали, стоя на улице. По неопытности мы с Гиней считали, что после концерта можем получить деньги. Но в кассе сидел фининспектор. Он заявил, что наложил арест на выручку и не даст ни копейки. Оказалось, что налоги за концерт полагалось вносить заранее. С унылым видом мы поплелись без денег домой. На другой день мы отправились к начальнику финансовой инспекции. Мы были прощены на первый раз, и все обошлось благополучно.

В это время прочно установилась советская власть в Киеве. Несмотря на голодную, полную лишений жизнь, все верили в будущее и ощущали подъем. Друзья Асмусы оказались интересными и образованными людьми, мы по очереди устраивали музыкальные и литературные вечера.

Нейгауз отдавал много сил преподаванию: он имел большой класс. Сам он сидел за роялем всегда мало – техника у него была стихийного порядка, и все зависело от его внутреннего состояния. Приходя из консерватории, он усаживал меня за один рояль, сам садился за другой, и мы играли в унисон этюды Шопена. Это давало мне больше любых уроков. Глядя на его руки, я усваивала больше, чем могла бы получить из объяснений. Поражало, как умело и умно он распоряжался своей неудачной маленькой рукой.

Так мы жили три года. Я продолжала за ним ухаживать и вести хозяйство, не оставляя музыки. Не знаю, были ли мы счастливы, но нам казалось, что ничего от жизни нам больше

не нужно.

В 1922 году Нейгауз и Блуменфельд были приглашены преподавать в Московскую консерваторию, и мы переехали в Москву. Блуменфельду и нам дали по одной комнате в доме на Поварской. Асмусы тоже перебрались в Москву¹⁰. Я радовалась этому: Ирина Сергеевна была моей ближайшей подругой.

В 1925 году я родила сына – Адриана Нейгауза¹¹, а через год стала ждать второго ребенка. И тут как-то пришла Ирина Сергеевна и сообщила мне потрясшую меня весть: Милица Сергеевна, которая была невестой Генриха Густавовича в то время, когда мы с ним познакомились, родила два года назад¹² от него девочку. Я была в ужасе, главным образом от того, что он мог скрыть это от меня. Взяв Адика на руки, я ушла из дому. Я долго ходила с ним по городу, и мне хотелось покончить с собой и убить сына. Но чувство материнства взяло верх, мне стало жаль ребенка, и из-за него я вернулась домой.

Произошла тяжелая сцена. Я горько плакала, а Генрих Густавович просил прощения. В конце концов я простила ему. После нашего объяснения он стал мягче и любовнее ко мне

¹⁰ ...тоже перебрались в Москву. – Асмусы переехали в Москву в 1926 году.

¹¹ Нейгауз Адриан Генрихович (1925–1945), старший сын Зинаиды Николаевны и Генриха Густавовича Нейгауза.

¹² ...два года назад... – Нейгауз Милица Генриховна (р. 1929), дочь Милицы Сергеевны и Генриха Густавовича Нейгаузов, математик.

относиться, но в отношениях появилась трещина. В 1927 году родился сын Станислав¹³. В душе я никогда не могла забыть измены Генриха Густавовича. Она лежала тяжким камнем у меня на душе, и утешения я искала только в своих делах.

Мы жили вчетвером в одной комнате. Дети спали за занавеской, а по другую сторону стояли два рояля. Приходили бесконечные ученики, и в доме, не смолкая, гремела музыка. Из Ленинграда приезжал гостить на две недели Горовиц (и скрипач Мильштейн¹⁴) и не закрывал рояля по двенадцать часов в день. Мы иногда играли с Горовицем в четыре руки, я получала большое наслаждение. Часто играли мы в четыре руки и с Генрихом Густавовичем, этим ограничивались мои занятия музыкой – заботы и радости материнства отнимали у меня все мое время. В этой комнате на Поварской мы прожили около шести лет, а в 1928 году переселились в трехкомнатную квартиру в Трубниковском переулке.

Все эти годы мы ездили летом под Киев на дачу и брали с собой маленьких детей. С нами всегда ездили туда и Асмусы. Мы были очень близки с ними. Ирина Сергеевна любила поэзию и ничего не понимала в музыке, но это не мешало ей дружить с Генрихом Густавовичем, так как он хорошо

¹³ Нейгауз Станислав Генрихович (1927–1980), младший сын Зинаиды Николаевны и Генриха Густавовича Нейгауза, пианист.

¹⁴ Мильштейн Натан Миронович (1904–1992), один из крупнейших скрипачей прошлого столетия. В 1920–1925 годах концертировал с Горовицем. С 1925 живет за границей, с 1928 года – в США.

знал литературу и помнил на память много стихов. Вообще он был всесторонне образованным человеком, владел пятью языками. Я считала себя по сравнению с ним ребенком и малообразованной, стелила свою жизнь под него и не успевала много читать, даже бросила музыку.

Однажды, помнится, это было в 1928 году, к нам пришли Асмусы, и Ирина Сергеевна принесла с собой книжку стихов Пастернака¹⁵ «Поверх барьеров». Она, Генрих Густавович и Асмус безумно восхищались его стихами. Мы всю ночь сидели и читали их вслух. О себе должна сказать, что я гораздо холоднее относилась к творчеству Пастернака, многие его стихи мне казались непонятными, а восторги мужа и Асмусов – наигранными. Их увлечение Андреем Белым мне тоже было непонятным, так как мое понимание современной поэзии заканчивалось на Блоке, которого я очень любила.

Спустя год Ирина Сергеевна радостно прибежала к нам и сообщила, что познакомилась с Пастернаком. Знакомство было оригинальным: узнав по портрету Пастернака, лицо которого было не совсем обычным, она подошла к нему на трамвайной остановке и представилась. Она сказала ему, что муж и она горячие поклонники его поэзии, и тут же пригласила его к ним в гости. Он обещал прийти в один из ближайших дней.

¹⁵ ...книжку стихов Пастернака *«Поверх барьеров»*. – Вероятно, речь идет о сборнике «Две книги. Стихи» (М. – Л., 1927), на котором в 1930 году автором была сделана первая дарственная надпись Зинаиде Николаевне.

Ирина Сергеевна хотела, чтобы мы обязательно были у них. Я была уверена, что Пастернак не придет, попросила Генриха Густавовича пойти без меня и осталась дома с детьми. Оказалось, что Пастернак все же пришел и просидел с ними всю ночь. Все они пришли от него в какой-то раж и день и ночь говорили только о нем. Он произвел впечатление огня, который шел как бы изнутри, и сочетания этого огня с большим умом. Через неделю Пастернак пригласил Асмусов к себе на Волхонку, в дом напротив храма Христа Спасителя, где он жил с женой и сыном¹⁶. Мне очень не хотелось идти к ним, по всей вероятности, я где-то внутри боялась встречи с таким замечательным человеком. Я долго отказывалась, но Ирина Сергеевна настаивала. Она называла его чудом и была вся захвачена им. Я уступила, и мы пошли.

Этот человек тоже произвел на меня сильное впечатление. Он оказался хорошим музыкантом и композитором. Генрих Густавович много играл, и Пастернак был в восторге от его исполнения. Потом он читал свои стихи. Я всегда была прямым и откровенным человеком, и когда он спросил, нравятся ли мне его стихи, я ответила, что на слух я не очень поняла, мне надо прочитать их дома глазами. Он засмеялся и сказал, что готов писать проще. Этой фразе я не придавала никакого значения. Внешне он мне понравился: у него светились

¹⁶ ...с женой и сыном. — Пастернак Евгения Владимировна, урожденная Лурье (1898–1961), художница, первая жена Пастернака. Пастернак Евгений Борисович (р. 1923), сын Евгении Владимировны и Бориса Леонидовича Пастернак, писатель, литературовед, биограф и издатель книг Б.Л. Пастернака.

глаза, и он весь горел вдохновением. Я была покорена им как человеком, но как поэт он был мне мало доступен. Потребовалось время и вживание в его старые стихи, чтобы они стали постепенно проясняться, и со временем я полюбила их. Тогда же показалось, что как личность он выше своего творчества. Его высказывания об искусстве, о музыке были для меня более ценными, чем его труднодоступные для понимания стихи. Мы долго засиделись. Но мне очень не понравилась жена Пастернака, это невольно перенеслось и на него, и я решила больше у них не бывать. Асмусы и Генрих Густавович продолжали ходить на Волхонку без меня, я отговаривалась занятостью и хозяйством. Наконец Ирина Сергеевна призналась, что единственный человек, который ее по-настоящему в жизни захватил, – Пастернак, и она в него влюблена. Она беспощадно обращалась со своим мужем. Он был милым человеком, очень страдал, и я удерживала ее от афиширования ее чувства к Борису Леонидовичу.

Через год пришла пора переезжать на лето под Киев, куда мы всегда отправлялись вместе с Асмусами. Ирина Сергеевна сообщила, что Пастернаки тоже хотят ехать на дачу под Киев. Все просили меня, любительницу путешествовать, поехать снять всем дачи. Выбор остановился на Ирпене. Собрали деньги на задаток, и я отправилась в путь. Я сняла четыре дачи: для нас, Асмусов, Пастернака Бориса Леонидовича с женой Евгенией Владимировной и для брата поэта – Пастернака Александра Леонидовича с женой Ириной Ни-

колаевной.

За две недели я собралась, и с двумя детьми (Адику было четыре года, Стасику – три года), с нянькой, горшками и пеленками мы двинулись в путь. Вместе с нами выехали в Ирпень Асмусы. Записаны были адреса всех дач, кроме нашей, и мы долго кружили вокруг нее на подводе. Генрих Густавович сердился. Как всегда, надо было искать в Киеве роля для Генриха Густавовича и перевозить его на подводе в Ирпень.

Дачи А.Л. и И.Н. Пастернаков и наша были рядом, а Б.Л. Пастернаку с женой и Асмусам я намеренно сняла подальше. Не помню уже точно, что побудило меня это сделать – вернее всего, ощущение опасности для меня частого с ними общения. Через две недели приехал Борис Леонидович с женой и сыном.

Первая наша встреча на даче была смешная. Босая и неприбранная, я мыла веранду, и вдруг вошел Борис Леонидович. Я была удивлена, когда он сказал: «Как жаль, что я не могу вас снять и послать карточку родителям за границу. Как бы мой отец – художник – был бы восхищен вашей наружностью!» Мне казалось, что он смеется надо мной, и я выразила ему недоверие.

В то лето в Ирпене жили наши друзья – литературовед Евгений Исаакович Перлин и его семья, несколько лет подряд снимавшие там дачу. Перлин, между прочим, обладал удивительной способностью предсказывать погоду. При ясном

небе он мог сказать, что через десять минут пойдет дождь. Ему не верили, подтрунивали над его предсказаниями, но они неизменно сбывались. Всегда в жизни бывают памятные даты, когда помнишь событие и погоду в тот день. Он помнил погоду любого дня в году, и мы даже играли в такую игру: заставляли его отвечать на вопрос, какая была погода в такой-то памятный кому-нибудь из нас день, и он точно говорил. Он был образован, любил поэзию и был интересным человеком. Он мне очень нравился, и у нас было нечто вроде начинающегося романа. Перлин часто заходил к Асмусам, а у нас бывал редко: чувствовал ревность Генриха Густавовича. Встречались мы чаще всего у Асмусов. Иногда даже назначали свидания и уходили вместе гулять. Он любил музыку и приходил к нам, когда Нейгауз играл и мы созывали знакомых.

Ирина Сергеевна все больше и больше увлекалась Борисом Леонидовичем и по-прежнему настаивала, чтобы я ходила с ней к Пастернакам, а он все серьезнее, что я по-женски чувствовала, тянулся к нам. Он перешел с Генрихом Густавовичем на «ты» и все чаще попадался, как бы случайно, мне на пути. Я любила собирать хворост в лесу, и однажды он зашел ко мне и предложил свою помощь. Он так увлекся этим занятием, что собранного им топлива нам хватило на все лето. Меня удивило, что он так умеет все хорошо делать. Мне казалось, что такой большой поэт не должен быть сведущим в бытовых и хозяйственных делах. Генрих Густа-

вович всегда, например, утверждал, что предел его ловкости – умение застегнуть английскую булавку. Когда в Гражданскую войну Генриху Густавовичу пришлось однажды поставить самовар, то он насыпал уголь туда, куда наливают воду, а воду налил в трубу. Своей хозяйственной деятельностью он вызывал восстание вещей. Я была сконфужена, когда Пастернак тащил ко мне вязанки хвороста. Я уговаривала его бросить, и он спросил: «Вам стыдно?» Я ответила: «Да, пожалуй». Тут он мне прочел целую лекцию. Он говорил, что поэтическая натура должна любить повседневный быт и что в этом быту всегда можно найти поэтическую прелесть. По его наблюдениям, я это хорошо понимаю, так как могу от рояля перейти к кастрюлям, которые у меня, как он выразился, дышат настоящей поэзией. Он рассказал, что обожает топить печки. На Волхонке у них нет центрального отопления, и он топит всегда сам, не потому, что считает, что делает это лучше других, а потому, что любит дрова и огонь и находит это красивым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.